

Vasiljev, Nikolaj L.

**О новой "Истории русского литературного языка" А.М.
Камчатнова: pro et contra**

Opera Slavica. 2006, vol. 16, iss. 4, pp. 41-54

ISSN 1211-7676

Stable URL (handle): <https://hdl.handle.net/11222.digilib/116708>

Access Date: 30. 11. 2024

Version: 20220831

Terms of use: Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University provides access to digitized documents strictly for personal use, unless otherwise specified.

*** MATERIÁLY – ZPRÁVY ***

**О новой «Истории русского литературного языка» А. М. Камчатнова:
pro et contra**

Н. Л. Васильев (Саранск)

Камчатнов А. М.: История русского литературного языка: XI – первая половина XIX века / Учеб. пособие для студ. филол. фак. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 688 с.

История русского литературного языка – сравнительно молодая вузовская дисциплина, необходимость в которой начала осознаваться в России немногим более столетия назад; окончательно она сформировалась лишь к середине XX в., когда, вслед за фундаментальной книгой В. В. Виноградова «Очерки по истории русского литературного языка XVII – XIX вв.» (1934 г.) стали появляться и первые учебники по этому курсу.

К сегодняшнему дню русистика располагает рядом авторитетных учебных пособий по данному предмету, подкрепленных солидными монографическими исследованиями частных вопросов истории русского литературного языка и необъятным количеством диссертаций, статей, тезисов и т. д.. Среди первых необходимо назвать прежде всего курсы лекций А. И. Ефимова, А. И. Горшкова, Е. Г. Ковалевской и совместный труд Л. В. Судавичене, Н. Я. Сердобинцева, Ю. Г. Кадькалова, наиболее полно и системно отражающие теоретические и фактологические вопросы указанной дисциплины¹.

Новое учебное пособие московского филолога Александра Михайловича Камчатнова, специалиста в области древнерусской книжности, построено по достаточно традиционному принципу: помимо авторского предисловия и теоретического введения оно состоит из 22 глав, последовательно с точки зрения хронологии

¹ См.: Ефимов А. И. История русского литературного языка. 3-е изд. М.: Учпедгиз, 1957. – 463 с. (и др. изд.); Горшков А. И. История русского литературного языка. М.: Высшая школа, 1969. – 368 с. (и др. изд.); Горшков А. И. Теория и история русского литературного языка. – М.: Высшая школа, 1984. – 319 с.; Ковалевская Е. Г. История русского литературного языка. – М.: Просвещение, 1978 – 384 с. (и др. изд.); Судавичене Л. В., Сердобинцев Н. Я., Кадькалов Ю. Г. История русского литературного языка. Л.: Просвещение, 1984. – 256 с. (и др. изд.).

раскрывающих вопросы становления русской литературной речи, начиная с эпохи древнерусского этнического единства и заканчивая пушкинским временем. Автор книги выделяет в истории русского литературного языка три периода: «Языковая ситуация в Киевской Руси», «Языковая ситуация в Московском государстве» и «Языковая ситуация в Российской империи» – не касаясь, следовательно, проблем изменений литературно-языковых норм в советское время. Заканчивается книга небольшим заключением, списком рекомендуемой литературы (45 наименований) и – что не характерно для учебной литературы, но, конечно, очень удобно для читателей – многостраничным указателем упоминаемых личных имен с выделенными в нем фамилиями исследователей, обращавшихся к данной проблематике, краткими сведениями об иных фигурантах авторского повествования.

Необходимо подчеркнуть, что погружение в проблематику данного курса требует от любого исследователя комплексной подготовки как лингвиста-универсала, литературоведа, историка и культуролога в одном лице. Тем более ответственно обращение к этому предмету в учебном жанре, о чем имплицитно говорит и сам автор рецензируемой книги (с. 6 – 7). Создавать учебники такого рода крайне сложно, гораздо легче находить в них уязвимые места и недостатки.

Приступая к анализу книги, отметим в первую очередь то обстоятельство, что ее название, несмотря на традиционность, неточно отражает специфику соответствующего учебного предмета. В строгом терминологическом смысле история *русского* литературного языка (а точнее было бы сказать, *литературной речи*) начинается с рубежа 14 – 15 вв.; поэтому, говоря о предистории последней, желательно указывать, хотя бы во введении, что речь пойдет об истории *древнерусского* и *русского* литературного языка, – учитывая, таким образом, общую для восточнославянских народов фазу единого культурного развития в период средневековья². (Этот момент выглядит важным не только с точки зрения методологии, но и идеологии, принимая во внимание деликатные ныне вопросы позиционирования в постсоветском пространстве трех близкородственных восточнославянских культур – русской, украинской, белорусской. В противном случае легко получить упрек по поводу российского шовинизма, выражающегося в данном случае в приписывании общей древнерусской истории только русскому языку, подобно тому, как некоторые украинские радикалы гордо заявляли, что их государственность сформировалась раньше, чем у соседа, поскольку Киев – «мать городов русских».)

Понимая, вслед за Г. О. Винокуром, предмет истории русского литературного языка как «историческую стилистику русского языка», автор, на наш взгляд, терминологически неточно определяет основной объект внимания этой дисциплины, т. е. стили литературной речи, архаично именуя их «языковыми стилями», «функциональными стилями» (с. 5 – 6). Для большинства современных лингвистов очевидно, что в самом языке (*langue*) стилей нет, они порождаются лишь в речи (*parole*), благодаря языковым, т. е. инвариантным, *представлениям* о стилях³; опреде-

² См. об этом: Васильев Н. Л. Методологические аспекты изучения и преподавания истории русского литературного языка // Вестн. Мордов. ун-та. 1995. № 3. С. 6 – 7.

³ См., напр.: Черемисин П. Г. Русская стилистика: В 2 ч. М., 1979. Ч. II. С. 38. Васильев Н. Л. К методологии изучения стилей // Актуальные проблемы стилологии и

ление же *функциональный* по отношению к категории стиля излишне, поскольку любой стиль речи, в том числе и индивидуально-авторский, функционален изначально⁴.

Рассматривая предшествующие периодизации истории русского литературного языка, А. М. Камчатнов справедливо отмечает, что в некоторых из них «эклектически смешиваются три признака – этнический, государственный и языковой и также ничего нельзя узнать о самом литературном языке» (с. 15). Автор выделяет три хронологических периода в этой истории: XI – XIV вв., XV – 1-я пол. XVII в., 2-я пол. XVII в. – до настоящего времени. Последний период делится исследователем на 6 этапов, заключительный из которых характеризуется тем, что «происходит нормализация <...> узуса (сложившегося в пушкинскую эпоху. – Н. В.) в грамматиках Н. И. Греча и А. Х. Востокова; развиваются функциональные стили русского литературного языка, славянский язык окончательно оттесняется в сферу культа» (с. 16 – 17), – в результате чего у читателя (и прежде всего студента!) остается полное недоумение относительно того, что же происходило с русским литературным языком в течение еще полутора столетий, особенно в первые годы Советской власти, когда сложившие нормы литературной речи, по существу, были разрушены в результате хорошо известных социальных и идеологических последствий революции⁵; неужели и впрямь мы до сих пор говорим и пишем, следуя нормативным заветам Н. И. Греча и А. Х. Востокова?.. Еще одно возражение вызывает попутное замечание автора учебника относительно того, что в послепушкинское время «развиваются функциональные стили» (получается, что до этого их не было или они не развивались); что «славянский (?) язык окончательно оттесняется в сферу культа» (если автор имеет в виду *церковнославянский язык*, то он был существенно вытеснен из литературного общения в сферу религии еще в конце XVIII в., уступив место офранцузенным литературным нормам).

Здесь мы подходим к наиболее принципиальному вопросу данного курса – о происхождении русского литературного языка. Посмотрим, как анализирует и решает его автор. А. М. Камчатнов справедливо пишет о том, что старославянский язык воспринимался славянским сообществом почти как родной, вследствие незначительности расхождений в то время между основными диалектами общеславянского языка (с. 18 – 19); более того, вопреки многим коллегам, исследователь полагает, что «праславянский язык просуществовал до XII века» (с. 8), что уже вызвало критическую реакцию одного из рецензентов книги⁶. Языковую ситуацию в Древней Руси автор определяет, вслед за Г. А. Хабургаевым, хотя и без ссылок на него, как «гетерогенное одноязычие», в рамках которого «роль литературного языка выполнял

терминоведения: Тез. межгосударственной конф., посвященной 80-летию проф. Б. Н. Головина. Н. Новгород. 1996. С. 34 – 35.

⁴ См., напр.: Стиль // Вахек Й (при участии Й. Дубского). Лингвистический словарь Пражской школы / Пер. И. А. Мельчука и В. З. Санникова; Под ред. А. А. Реформатского. М., 1964. С. 217.

⁵ См. об этом, напр.: Судавичене Л. В. и др. Указ. соч. С. 225; Грановская. Л. М. Русский литературный язык в конце XIX и XX вв.: Очерки. М., 2005. С. 203 – 217 и др.

⁶ См.: Иванова М. В. [Рец.] // Филологические науки. 2006. № 3. С. 109 – 113.

древнерусский литературный язык» (с. 24). Цитируя М. В. Ломоносова и Н. М. Карамзина, автор пишет, что указанные писатели, в свою очередь, сформировали концепцию «литературного двуязычия» применительно к истории древнерусского языка; между тем, как нам представляется, классики употребляли в данном случае термин язык не в буквальном лингвистическом смысле, а в весьма традиционном значении «слог, стиль, манера речи»⁷. Не случайно большинство современных исследователей не говорит о литературном двуязычии в истории русского литературного языка, поскольку данная концепция предполагает параллельное функционирование в качестве литературных двух самостоятельных языков и допускает необходимость или потенциальную возможность перевода с одного на другой, чего на самом деле не было⁸.

А. М. Камчатнов разделяет точку зрения Г. О. Винокура, В. В. Виноградова (1950-е гг.) и ряда других лингвистов о синтетическом характере древнерусского литературного языка, впитавшего в себя в необходимой мере церковнославянские элементы (с. 36 – 43). Упомянув о позиции А. В. Исаченко по этому вопросу, автор, однако, почему-то опускает из вида мнение авторитетного слависта (в его поздних трудах) относительно галльской основы русского литературного языка⁹. И уж совершенно А. М. Камчатнов игнорирует взгляд М. Л. Ремневой на формирование русского литературного языка, согласно которой он является в своей основе церковнославянским – со «строгой» и «сниженной» нормами реализации последнего, вопреки виноградовской концепции о двух типах русского литературного языка¹⁰. Итоговый вывод, к которому приходит А. М. Камчатнов в ходе анализа предшествующих теорий происхождения русского литературного языка, выглядит обескураживающе противоречивым: «... языковая ситуация в Киевской Руси была одноязычной, роль литературного языка выполнял древнерусский литературный язык, в образовании которого участвовали две стихии – старославянская и восточнославянская. <...> О с н о в о й э т о г о е д и н с т в а <...> б ы л а с т а р о с л а в я н с к а я к у л ь т у р н а я т р а д и ц и я» (с. 56)¹¹, – таким образом, получается, что автор, как бы сам того не ведая, наследует концепцию А. А. Шахматова...

В древнерусском литературном языке исследователь выделяет прежде всего «сакральный стиль», в основе которого лежала «старославянская стихия с использованием восточнославянской стихии» (с. 57, 64), и дает ему обширный комментарий. Между тем трудно, на наш взгляд, признать данный стиль проявлением именно *литературной* речи, поскольку литературный язык призван выполнять в первую очередь светские (культурно-государственные) функции, а не культовые, для чего

⁷ См., напр.: Даль В. И. Словарь живого великорусского языка: В 4 т. М., 2005. Т. 4. С. 674.

⁸ См. об этом, в частности: Горшков А.И. Теоретические основы истории русского литературного языка. М., 1983. С. 88 – 89.

⁹ См. об этом: Филин Ф. П. Истоки и судьбы русского литературного языка. М., 1981. С. 74 – 75,

¹⁰ См.: Ремнева М. Л. Еще раз о типах (видах, стилях) древнерусского литературного языка // Вестн. Моск. ун-та. Серия 9: Филология. 1995. № 4. С. 99 – 104.

¹¹ Во всех случаях при цитировании нами сохраняются графические выделения А. М. Камчатнова.

этого существуют особые подязыки; в противном случае он не воспринимался бы как сакральный¹². Далее автором характеризуется деловой стиль, но в несопоставимо меньшем объеме (с. 76 – 79), хотя его следовало позиционировать ранее «сакрального», так как истоки русской деловой документации прослеживаются по крайней мере со времени договоров «русских с греками» (907, 911, 944, 971 гг.), т. е. ранее официальной даты крещения Руси. Затем описывается «славяно-русский стиль», под которым исследователь понимает «синтез двух основных стихий – старославянской и восточнославянской» (с. 80), что несколько противоречит его же характеристике сакрального стиля. К последнему стилю относятся, по мнению автора, такие памятники, как «Повесть временных лет», «Слово о полку Игореве», «Поучение» Владимира Мономаха, т. е. летописи, «повествовательная литература», «произведения учительного красноречия». Но подобная классификация стилей древнерусской литературной речи весьма узка с точки зрения и формальной логики, и теоретической стилистики, поскольку в основу выделения конкретного стиля автором берется не экстралингвистический признак (религия, делопроизводство, публицистика, наука, художественная литература и т. д.), а собственно лингвистический (пропорция тех или иных языковых средств)¹³. Нельзя смешивать при этом понятия стиля и жанра, так как летописи по своей жанровой природе содержат разноплановые с точки зрения стилистической организации тексты (это, кстати говоря, комментируется и самим автором, отмечая, например, что летописные повести «выдержаны в сакральном стиле» – с. 86 – 87), вследствие чего возникает противоречие между выделяемыми исследователем первым и третьим стилями.

Рассматривая языковую ситуацию в Московском государстве, А. М. Камчатнов делает вывод о наличии в ней литературного двуязычия, понимая под этим «противопоставление книжно-письменного и разговорного ("простого") языков» (с. 104). В качестве одного из доказательств этого ученый приводит часто привлекаемое в учебной литературе наблюдение Г. Лудольфа о том, что в Московской Руси «невозможно ни писать, ни рассуждать по каким-либо вопросам науки и образования, не пользуясь славянским языком. Поэтому, чем более ученые кто-нибудь хочет казаться, тем более примешивает он славянских выражений в своей речи или в своих писаниях...» (с. 105). Между тем этот хрестоматийный пассаж, переведенный с латинского языка, надо трактовать, на наш взгляд, совершенно иначе: западный путешественник лишь констатировал разницу между двумя регистрами единого в своей основе старорусского языка конца XVII в., ни о каком двуязычии в тех условиях речи не шло; двуязычие предполагает параллельное употребление самостоятельных языков, например польского и русского, латинского и русского, французского и русского, в культурных границах одного сообщества. Старославянские элементы в древнерусской и старорусской речи воспринимались ее носителями, скорее, как высокий вариант родного языка. Описываемая А. М. Камчатновым ситуация напоминает современную оппозицию обыденной / научной, ораторской, деловой,

¹² См. также: Шапир М. И. Язык быта / языки духовной культуры // *Russian Linguistics*. 1990. Vol. 14. С. 138.

¹³ Типологически данная классификация стилей напоминает теорию «трех стилей» М. В. Ломоносова, не имеющую ничего общего с современным пониманием стилей речи – научного, делового, художественного и т. д.

художественной или публицистической речи, основанную на маркировке конкретного литературного стиля специфическими элементами; проще говоря, чтобы сделать текст, например, наукообразным, следует прибегать к терминам, подобно тому, как ранее прибегали к славянизмам, но и то, и другое не является иносистемным по отношению к русскому языку. К экстралингвистическим факторам развития «двуязычия» А. М. Камчатнов относит так называемое «второе южнославянское влияние», которое сам же определяет как «архаизацию и грецизацию русской графики и орфографии» (с. 113). В этом мы тоже видим логическое противоречие в научных построениях исследователя: получается, что вторая южнославянская инъекция в русскую культуру выразилась лишь в формальных моментах – в письменности, и уж никак не могла в таком случае коснуться внутренней сущности русского языка, тем более сформировать литературное двуязычие.

К памятникам собственно «славянской книжности» этой поры А. М. Камчатнов причисляет, в частности, жития святых, написанные почти образцовым старославянским языком (с. 122), «Задонщину», «Сказание о Мамаевом побоище», другие «исторические и публицистические сочинения» (с. 126). В таком случае возникает вопрос, почему «Задонщина», преемственно связанная с со «Словом о полку Игореве», оказывается, по мнению ученого, проявлением не синтетического «славяно-русского» стиля, а фактически – церковнославянской традиции; тем более, что предшествующие исследователи характеризуют этот памятник как образец тонкого единства генетически разнообразных стилистических средств, включая и фольклорные элементы, чуждые церковнославянской литературе¹⁴. При таком понимании «языковой ситуации» А. М. Камчатнову, дабы избежать внутренних противоречий, пришлось ввести понятие «"смешанный" язык» (гл. 9, с. 136), характеризуя указанным термином, например, публицистику И. Грозного, «Домострой»; наконец, придумать еще один весьма странный лингвистический концепт – «среднерусский литературный язык XV – XVII веков» (гл. 10, с. 140), объединяя под ним таким тексты, как «Хождение за три моря» А. Никитина, «Вести-Куранты», «Повесть об азовском осажденном сидении донских казаков», т. е. весьма далекие друг от друга с точки зрения жанрово-стилевой организации произведения.

Немало места в учебном пособии уделяется «языковой ситуации в юго-западной Руси XV – XVII веков» (гл. 11, с. 147 – 161), а также «лингвистическому изучению славянского языка в XV – XVII веках» (гл. 12, с. 162 – 194), что, несомненно, расширяет лингвистический кругозор читателя, но вряд ли помогает смириться с тем, что гораздо меньше внимания автор уделяет некоторым важным вопросам собственно русской языковой истории и лингвокультурологии (см. об этом ниже).

III часть книги («Языковая ситуация в Российской империи») заметно превышает по объему две предшествующие, что вполне закономерно, поскольку именно в XVII – XIX вв. происходят наиболее интересные и значительные события в истории русского литературного языка. А. М. Камчатнов, однако, рассматривает здесь и такие «экзотические» темы, как «§ 47. Движение боголюбцев», «§ 48. Имперская ориентация патриарха Никона в исправлении богослужебных книг», «§ 49. Языковые взгляды старообрядцев <...>», «§ 51. Культура барокко», демонстрируя исто-

¹⁴ См. Судавичене Л. В. и др. Указ. соч. С. 69 – 71.

рико-культурную, теологическую и литературоведческую эрудицию. При этом приводится много интересного иллюстративного материала.

Характеризуя эпоху правления Петра I, исследователь оспаривает мнения предшествующих ученых относительно секуляризации русской культуры в указанное время, обосновывая это, в частности, тем, что становление Петербурга как новой столицы России изначально отражало сакрально-символичное (ценностно-христианское) мышление русского императора (с. 261 – 265). Вывод автора о языковой политике Петра I звучит столь же витиевато, сколь и лингвистически невнятно: «Таким образом, в Петровскую эпоху речь шла о замене грамматического "коренника" литературного языка, а именно славянского – русским; цель этой замены – большая "внятность", "вразумительность", если использовать любимые слова Петра I, тех научных, технических и публицистических текстов, в которых нуждалась страна» (с. 272). Думается, что обозначенная В. В. Виноградовым модель понимания этой эпохи («европеизация», «политехнизация» литературного языка) более соответствует исторической действительности¹⁵; хотя, конечно, нужно признать, что в условиях советской идеологии, развивавшей в 1920 – 1930-х гг. ленинско-сталинскую идею о Петре I как своеобразном предтече большевизма в деле государственного строительства¹⁶, рассуждать о каком-то компромиссе петровских преобразований с религией было не принято.

Много места в учебнике А. М. Камчатнова посвящено «языковой программе В. К. Тредиаковского» (с. 303 – 328); между тем анализу куда более эстетически выразительной и научно обоснованной «языковой программы М. В. Ломоносова» уделено лишь 10 страниц...

Как положительный момент мы расцениваем появление в данном учебном пособии разделов «§ 72. Возникновение русского масонства и его влияние на русскую культуру» (с. 352 – 366), «Глава 19. Мистическое масонство и русский сентиментализм» (с. 401 – 441), повествующих об идеологическом феномене, о котором много говорят в контексте русской истории и литературы, но мало знают конкретного, тем более студенты-филологи. Автор подробно останавливается на анализе литературной деятельности даже второстепенных писателей XVIII в., связанных с русским масонством (М. М. Херасков, М. М. Щербатов, И. П. Елагин, Ф. А. Эмин, Н. Ф. Эмин и др.), что, скорее, было бы уместным в литературоведческом издании. При этом стиль изложения под пером исследователя обретает иногда черты описываемой им лингвистической эпохи, что также вряд ли приемлемо в жанре вузовского учебника, например: «Александр Николаевич Радищев (1749 – 1802) также истощал свои усилия в создании славяно-русского языка» (с. 381).

Говоря о значении «нового слога» Н. М. Карамзина, автор, на наш взгляд, совершенно напрасно заявляет, что «принципы употребления литературного языка (?) писателем «многие историки (?) считают началом современного (?) русского литературного языка» (с. 411). Насколько нам известно, никто из лингвистов так не

¹⁵ См.: Виноградов В. В. Очерки по истории русского литературного языка XVII – XIX вв. 2-е изд. М., 1938. С. 48 – 63.

¹⁶ См.: Дубровский А. М. Историк и власть: историческая наука в СССР и концепция теории феодальной России в контексте политики и идеологии (1930 – 1950-е гг.). Брянск, 2005. С. 85 – 87.

считал и не считает, за исключением, может быть, самого А. М. Камчатнова. Стилистические принципы карамзинской школы, отчетливо заявившие о себе в конце XVIII в., несмотря на многие новаторски-привлекательные черты, носили в ряде отношений исторически ограниченный характер и были диалектически («отрицание отрицания») преодолены только в 1820 – 1830-х гг. Поэтому нижней хронологической границей *современного* русского литературного языка большинством ученых считается именно пушкинская эпоха, а меньшинством – вторая пол. XX в., как привнесшая в классическую литературную речь новые языковые реалии¹⁷. Впрочем, подводя итог деятельности Н. М. Карамзина, исследователь повторяет уже апробированные наукой сведения, забывая, что они противоречат сказанному им ранее: «...ограниченная сентименталистская эстетика Карамзина, его стремление создать нежный, красивый, изящный слог для чувствительных дам (?) не позволили ему достичь подлинного синтеза естественного узуса и исторического языкового предания (?) и стать основателем современного русского литературного языка» (с. 441).

Отрадно, что в учебнике реабилитируется личность и творчество главного оппонента «нового слога» – А. С. Шишкова, которому уделено здесь места лишь чуть менее, чем самому основателю русского сентиментализма. Автор подробно, в уважительном тоне рассматривает нюансы лингвистических воззрений лидера «архаистов», выявляя в них как достоинства, так и ограниченность, оспаривая предшествующие мнения на этот счет и даже заключая свой анализ следующим выводом: «...нельзя согласиться с тем, что в его [А. С. Шишкова] "тихогромах" не было ничего, кроме повода для шуток, напротив, в его "святом косноязычии" заключалась живая и плодотворная мысль о природе языка, которая, будь она вовремя услышана и понята, могла бы стать основой глубоких и подлинно научных исследований в области сравнительного языкознания» (с. 470).

Не станем специально останавливаться на комментировании глав и параграфов книги, повествующих об отдельных литературных фигурантах и фактах истории русского литературного языка рубежа XVIII – XIX вв.; каждый из потенциальных авторов подобных учебных пособий и монографий волен избирать свой путь и выбирать свои исследовательские приоритеты. Перейдем к центральной, на наш взгляд, фигуре в истории русского литературного языка – А. С. Пушкину и рассмотрим, как позиционируется эта важнейшая в методологическом отношении тема в рецензируемом издании.

Приступая к анализу этого вопроса, исследователь пишет: «А. С. Пушкину суждено было завершить весь (?) предшествующий, начиная с Ломоносова (?), период и одновременно открыть новый, современный этап развития русского литературного языка» (с. 519). Во-первых, возникает противоречие с высказанным ранее мнением автора об особой исторической миссии Н. М. Карамзина; во-вторых, Пушкин не

¹⁷ См. по этому поводу заочный «диалог», например, в следующих публикациях: Алексеев М. Современный литературный язык – язык «от Пушкина до наших дней»? // Александр Сергеевич Пушкин и русский литературный язык в XIX – XX веках: Тез. докл. межд. науч. конф. Н.Новгород, 1999. С. 12 – 14; Капюта А. М. Архаичен ли язык Пушкина? // Там же. С. 142 – 143; Корнеева А. Ю. Десять лет XX века как один из этапов в развитии русского литературного языка // Там же. С. 173 – 174; Васильев Н. Л. Архаичное и современное в языке Пушкина // Рус. словесность. 1999. № 2. С. 51 – 52.

завершал никакого периода – его новаторская, отчасти «революционная» литературно-языковая деятельность была направлена на преодоление ограничений, с одной стороны, ломоносовской стилистической теории, а с другой, несколько искусственной (жеманной, далекой от народно-разговорного языка) практики карамзинской школы. Стилистические принципы М. В. Ломоносова основывались на относительно жесткой привязанности языковых средств к конкретным стилям и жанрам, что было для своего времени позитивно; у Н. М. Карамзина выбор слов диктовался вкусами европейски образованного светского общества. Пушкин же боролся за право писателя употреблять любые стилистические ресурсы – от низкого просторечия до высоких славянизмов – в зависимости от требований контекста, семантической и экспрессивной точности, соответствия словоупотребления авторским целям. Это положение давно стало хрестоматийным в филологии.

Как нам представляется, рассуждая о новациях пушкинской эпохи, исследователь слишком буквально воспринимает тезис Н. М. Карамзина относительно того, что эталоном хорошей литературной речи могла бы служить речь «милых дам» (в этом нужно видеть подчеркнутую галантность писателя и лишь затем иные предпосылки), и поэтому позиционирует указанную «гендерную» специфику на последующую историю русского литературного языка с наивной прямолинейностью: «§ 87. Борьба <А. С. Пушкина> против феминизации литературного языка» (с. 524 – 528). Между тем Пушкин вовсе не стремился принизить эстетический вкус женщин, их культуру чтения, роль в формировании новых литературно-языковых норм и, скорее, наоборот, нередко иронизировал над мужской ограниченностью. Ср., например: «...И календарь осьмого года: / Старик [дядя Онегина], имея много дел, / В иные книги не глядел»; «Отец ее [Татьяны] был добрый малый, / В прошедшем веке запоздалый; / Но в книгах не видал вреда; / Он не читал их никогда <...>»; «...Перед хозяйкой [замужней Татьяной] легкий вздор / Сверкал без глупого жеманства, / И прерывал его меж тем / Разумный толк без пошлых тем, / Без вечных истин, без педантизма, / И не пугал ничьих ушей / Свободной живостью своей» («Евгений Онегин», II, 3, 29; VIII, 23).

Говоря о роли церковнославянизмов в пушкинских произведениях, А. М. Камчатнов выявляет и такую функцию «славянского языка», как возможность быть «источником "метафизической", т. е. отвлеченной лексики и фразеологии (?)» (с. 540); но при этом почему-то упускает из вида необходимость рассказать в дальнейшем студентам о самом «метафизическом языке», актуальность выработки которого ощущалась в русском социуме на протяжении почти столетия (с XVIII в. до середины XIX в.)¹⁸, научной терминологии, активно привлекавшейся писателем (см. далее). Заметим также, что к славянизмам в пушкинских текстах автор относит и слова *сей, оный* (с. 542), которые, несмотря на архаичность, являются исконно русскими лексемами.

Переходя к анализу просторечных элементов в языке Пушкина («§ 90. Категория народности в пушкинской концепции литературного языка»), А. М. Камчатнов

¹⁸ См.: Васильев Н. Л. Вопрос о «метафизическом языке» в истории русской литературы и ее языка // Сб. тез. VI Международного конгресса преподавателей русского языка и литературы. Секция № 5: Вопросы теории и истории русской классической литературы. Будапешт, 1986. С. 25 – 27.

неудачно контаминирует «чужую речь» с собственной: *«Второй стихией, данной нам для сообщения наших мыслей, была народная речь. Терминологически эту языковую стихию обозначали словами простонародный язык и просторечие <...>»* (с. 547) – в результате полудитатность смешивается с комментарием к ней. При этом в рассуждениях автора фигурирует архаичный идеологизированный термин «народная речь», – как будто *речь* вообще может быть не народной (источки подобной фразеологии идут со времен пресловутых оппозиций «народ и царь», «партия и народ»). На наш взгляд, в данном разделе следовало говорить не столько о категории народности языка в пушкинском понимании, сколько о «народности», т. е. демократичности языка писателя. В таком случае из поля зрения автора не выпали бы и стилистически разговорные средства пушкинской речи, и фольклоризмы, и активизированные им в поэзии «прозаизмы», и фразеологизмы, тоже свидетельствующие о тенденции демократизации литературной речи (прозаической и поэтической) в пушкинское время¹⁹.

Касаясь вопроса об отношении Пушкина к лексическим заимствованиям («§ 91. Решение проблемы заимствований»), А. М. Камчатнов игнорирует многочисленные нетранслитерированные иноязычные элементы в произведениях классика²⁰ и тем более роль французского языка, к которому нередко прибегал писатель в своем творчестве²¹.

Отсутствует в учебнике и разговор о вкладе Пушкина в развитие русского «метафизического языка»²², тем более о таком важнейшем ингредиенте последнего и вообще пушкинского языкового синтеза, как научная лексика²³, составляющая, по нашим наблюдениям, 5 – 6 процентов пушкинского лексикона, тогда как иные речевые стихи в нем (славянизмы – 2,6 %, просторечие – 2 %, галлицизмы – 1,7 %,) значительно уступают терминам в количественном отношении²⁴.

¹⁹ См. об этом, в частности: Васильев Н. Л. Фразеология в языке Пушкина // Актуальные проблемы филологии в вузе и школе. Тверь, 1997. С. 186 – 187; Он же. Фразеология как художественно-изобразительное средство в романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин» // Болдинские чтения. Н. Новгород, 2001. С. 91 – 100.

²⁰ См.: Васильев Н. Л., Савина Е. В. Варваризмы в языке А. С. Пушкина // Филол. науки. 2000. № 2. С. 99 – 105;

²¹ См., напр.: Колосова Н. А. Французский язык в идейно-стилевой системе пушкинских произведений. Саратов, 1984; Гак В. Г. Язык Пушкина и французский язык // Вопр. языкознания. 2000. № 2. С. 79 – 89; Савина Е. В. Взаимодействие русской и французской речевых стихий в произведениях А. С. Пушкина. Саранск, 2003.

²² См., в частности: Горшков А. И. История русского литературного языка. С. 349 – 351; Васильев Н. Л. «... Метафизического языка у нас вовсе не существует» (Из истории русского литературного языка) // Филол. науки. 1997. № 5. С. 76 – 79.

²³ См.: Васильев Н. Л. Научная лексика в литературном творчестве А. С. Пушкина: Автореф. дис. ... канд филол. наук. Горький, 1981; Он же. Научная лексика в языке А. С. Пушкина: Учеб. пособие. Саранск, 1989.

²⁴ См.: Васильев Н. Л. Стилистическая структура языка А. С. Пушкина (статистические аспекты) // А. С. Пушкин и современность: Научно-педагогический аспект. Саранск, 1999. С. 15 – 17; Он же. Заимствованная лексика в языке А. С. Пушкина // Вестн. Мордов. ун-та. 2000. № 3/4. С. 58 – 60.

Говоря об открытом Пушкиным «новом принципе литературного употребления языка», А. М. Камчатнов сводит его не к общепринятой модели адекватности слова, независимо от его стилистической принадлежности, контексту, а к «принципу художественности» (с. 577). В таком случае категория *литературный язык* сужается до понятия *художественный стиль* (заметим, что последний в строгом лингвистическом смысле не входит в структуру литературной речи, хотя исторически она многим обязана именно художественной литературе), а Пушкин вовсе не может быть объявлен реформатором стилистических норм современного русского *литературного языка* (в крайнем случае ему можно отдать пальму первенства в плане новаций в художественном дискурсе). Не спасает от такого противоречия, а скорее еще более запутывает истину утверждение автора, что «найденные Пушкиным новые принципы употребления языка носят <...> универсальный характер, т. е. они применимы не только к собственно изящной словесности, но и в других родах литературы (?). Это значит, что и научная, и философская, и деловая, и публицистическая речь должны быть по-своему художественны <...>» (с. 580).

Заканчивается раздел о пушкинском языке, а по существу и рассмотрение многовековой истории русского литературного языка, следующим странным выводом: «...именно после пушкинской реформы литературного языка начинается развитие функциональных стилей русского литературного языка. Это значит, что русский литературный язык приобрел национальный характер» (с. 581). Согласно А. М. Камчатнову, получается, что до Пушкина, как в Древней Руси, так и в России, не существовали ни официально-деловой, ни ораторский, ни публицистический, ни научный стили; а следовательно, не было и самой истории литературного языка, так как она и есть история формирования именно литературных стилей. Абсурдно и то, что в XVII – XVIII вв. проявления литературной речи будто бы не носили общенационального русского характера (во всяком случае это заявление исследователя противоречит устоявшемуся в науке положению о времени консолидации русского этноса в нацию).

Вместо рассмотрения того, что же в дальнейшем происходило в истории русской литературной речи, какие ее стили и в какой степени развивались, функционировали, какие писатели, ученые, публицисты, журналисты, общественные деятели способствовали формированию литературных норм, как отразились в языке последствия Октябрьской революции, приведшие к резкому падению речевой культуры, гипердемократизации и идеологизации литературного дискурса²⁵, автор заканчивает свою «историю русского литературного языка» обширной главой, посвященной «нормализации нового литературного узуса в лексикографических и грамматических трудах XVIII – первой XIX века» (с. 582 – 653), совершая еще и логическую ошибку, поскольку «новый литературный узус» у него начинается со словарей

²⁵ Заметим, что и учебные программы еще «советского» времени требовали, во всяком случае в формате университетского образования, рассмотрения темы «Русский литературный язык после Октябрьской революции», в которой ставились и такие вопросы, как «Язык революционной эпохи», «Сложносокращенные слова как знаки культурной ориентации», «Роль средств массовой информации в распространении норм литературного языка» и др. См., напр.: Программа дисциплины «История русского языка»: Для гос. ун-тов. / Сост.: К. В. Горшкова и др. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1986. С. 39 – 40.

Ф. Поликарпова 1700-х гг., а заканчивается... грамматиками Н. И. Греча и А. Х. Востокова. О вкладе в историю литературно-художественной речи М. Ю. Лермонтова, В. Г. Белинского, Н. В. Гоголя, А. И. Герцена, Н. А. Некрасова, Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского и других писателей послепушкинского времени в книге даже не упоминается, в отличие от их более удачливых, но давно забытых читателями коллег по перу XVIII в.

Остался без внимания автора учебника, сосредоточившего свои исследовательско-методические усилия на выявлении культурной значимости церковнославянского языка, вопрос о параллельном функционировании в России в литературных функциях латинского, французского, немецкого языков, которые начиная с XVII в. активно использовались в этикетно-разговорном, научном, учебном, эпистолярном, деловом, публицистическом и отчасти художественном стилях. Вряд ли следует забывать, что четвертая часть эпистолярного наследия основоположника современного русского литературного языка А. С. Пушкина написана по-французски; что Т. Ларина обращалась к Онегину именно так, а не иначе²⁶, что роман Л. Н. Толстого «Война и мир», помимо реалистически точного отражения русско-французского двуязычия начала XIX в., еще и натуралистически прямолинейно отражает это двуязычие в речевой структуре произведения, созданного во второй пол. того же столетия, и т. д. и т. п. Можно вспомнить и о замечании В. В. Виноградова относительно культурно-этикетной функции польского языка в русской истории: «К концу XVII в. знание польского языка является принадлежностью образованного дворянина»²⁷.

А. М. Камчатнов же, к сожалению, говорит в своей книге лишь о том, что «русский литературный язык испытывал в разные периоды своего существования влияние греческого, голландского, немецкого, французского языков, хотя сами носители этих языков никогда не жили бок о бок» (с. 12). Но и в этом случае он допускает значительные упрощения и отклонения от истины, забывая упомянуть, например, о классической латыни («Латынь из моды вышла ныне: / Так, если правду вам сказать, / Он [Онегин] знал довольно по-латыни, / Чтоб эпиграфы разбирать <...>» – I, 5)²⁸, итальянском языке, весьма популярном в России в XIX в. («С ней [венецианкой молодой] обретут уста мои / Язык Петрарки и любви» – I, 49), не говоря уже об английском, что отразилось, в частности, в творчестве того же А. С. Пушкина

²⁶ «Еще предвижу затрудненья: / Родной земли спасая честь, / Я должен буду, без сомненья, / Письмо Татьяны перевести. / Она по-русски плохо знала, / Журналов наших не читала, И выражалась с трудом / На языке своем родном, / Итак, писала по-французски... / Что делать! повторяю вновь / Донеде дамская любовь / Не изъяснялася по-русски, / Донеде гордый наш язык / К почтовой прозе не привык» («Евгений Онегин», III, 26).

²⁷ Виноградов В. В. Указ. соч. С. 32.

²⁸ О роли латинского языка в допушкинский и послепушкинский периоды см.: Васильев Н. Л. Латинский язык в истории русского литературного языка // XXIV Огаревские чтения: Тез. докл. науч. конф.: В 3 ч. Саранск, 1995. Ч. 1. С. 112; Воробьев Ю. К. Латинский язык в русской культуре XVII – XVIII веков. Саранск, 1999.

на («...Как dandy [Онегин] лондонский, одет...» и т. д.)²⁹, а уж в наше время тем более стало яркой приметой бытовой и литературной речи. Бесспорно, что Греция, Голландия, Германия и Франция формально не граничат и не граничили с Россией, но все же не будем забывать, что Древняя Русь тесно взаимодействовала с наследовавшей греческую культуру Византией, что русские мастеравые, инженеры, ученые, писатели учились и подолгу жили, а некоторые, как П. А. Вяземский, А. И. Герцен, Н. П. Огарев, И. С. Тургенев, и почилы в Западной Европе, что Россия стала второй родиной для тысяч греков, миллионов немцев и французов, – следовательно, контакты представителей указанных народов были весьма интенсивными, независимо от административных границ, что и создавало особую интернациональную ауру российского суперэтнуса и культуры, в которой сыграли выдающуюся роль и Ф. Грек, и «греко-молдаванин» А. Д. Кантемир, и «итальянец» В. В. Расстрелли, и «украино-поляк» Н. В. Гоголь, и «немец» Я. К. Грот, и писатели с примесью экзотической «африканской» или «шотландской» крови вроде А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова, и немецкая княжна София-Августа-Фридерика Ангальт-Цербстская (Екатерина II), и автор самого известного толкового словаря русского языка В. И. Даль, чьи родители были выходцами из западноевропейских стран³⁰.

В заключении А. М. Камчатнов, подводя итоги, пишет, что А. С. Пушкин «утвердил в качестве главного принципа литературного языка принцип художественности» и что он «завершает собою историю русского литературного языка <...>» (с. 654). Согласиться с этими выводами трудно, по причинам, изложенным нами выше.

Хотелось бы видеть в учебнике такого рода указание на то, что в многовековой истории русского литературного языка преобладали две основные тенденции – демократизация и интеллектуализация (первая выражалась в постоянном взаимодействии литературного языка с разговорным, вторая – в выработке «метафизических» ресурсов речи), – но, увы, автор, даже не употребляет данные термины, хотя во введении цитирует знаменитые тезисы Пражского лингвистического кружка, причем именно в той их части, где говорится об «интеллектуализации» литературного языка как его важнейшем маркирующем признаке на фоне разговорного узуса: «...литературный язык отражает культурную жизнь и цивилизацию (ход и результаты научной, философской и религиозной мысли, политической и социальной, юридической и административной деятельности)» (с. 10)³¹.

В целом же автор учебного пособия проявляет большую эрудицию, независимость суждений и убедительную риторику в отстаивании своей позиции, использует множество редких документов, соблюдая исключительную точность в их цитировании, т. е. графическую аутентичность текста, что, несомненно, требовало дополни-

²⁹ Подробнее см., напр: Васильев Н. Л. Иноязычные элементы в романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин» // Пушкин на пороге XXI века: Провинциальный контекст. Вып. 5. Арзамас, 2003. С. 107 – 120.

³⁰ См. также: Васильев Н. Л. Заметки о русском... // Лит. Россия. 2003. № 35 (29 авг.). С. 6.

³¹ См.: Пражский лингвистический кружок: Сб. статей. М., 1967. С. 26 – 27.

тельных исследовательских усилий, привлекает специальные исторические, литературоведческие, лингвистические, культурологические, теологические работы.

Подчеркнем, что наш критический анализ был направлен, во-первых, на принципиальный разговор о содержании нового учебника по одной из важнейших дисциплин русской филологии, имеющей выходы в самые разнообразные сферы жизни, культуры и идеологии; во-вторых – на *диалогическую* ориентацию потенциальных пользователей книгой, в частности студентов, в проблематике курса истории русского литературного языка и новейшей научно-учебной литературе по этому предмету.

Ruština ve svých lokálních různotvarech jako předmět odborného zájmu permských lingvistů

Zdeňka Trösterová

V době relativně nedávno minulé za existence SSSR se ruština jako národní a spisovný jazyk zakládajícího a největšího ze sovětských národů těšila mimořádnému zájmu ze strany oficiálních míst. Jazyková politika byla součástí státní sovětské politiky, jazykovědné ústavy a početná vysokoškolská pracoviště se zúčastňovaly státních výzkumných úkolů zaměřených na popis daného jazykového stavu i fenomén tzv. jazykového plánování. Ani z dnešního pohledu nelze však většinu prací o jazyce vzniklých v SSSR upřít rozhled, solidnost a širokou materiálovou základnu, s níž lingvisté pracovali. I v zahraničí, zvláště v zemích východního bloku, kde bezprostřední přístup k západní lingvistické literatuře byl obtížný, byla velmi ceněna edice *Новое в зарубежной лингвистике*, která mapovala současné světové lingvistické dění a pohotově překládala nejzávažnější díla světových lingvistů. Takto teoreticky vyzbrojeni a metodologicky poučeni se pak sovětská jazykovědci zabývali výzkumem ruštiny, do něhož tak pronikaly metodologie věd, které jinak v SSSR oficiálně podporovány nebyly, jako sociologie atd. Proto i projekty, které se nám dnes podle názvu jeví jako tendenční a málo užitečné, představovaly významný počín a mají svou vědeckou hodnotu dodnes, např. série monografií *Русский язык и советское общество, Социолого-лингвистическое исследование*, red. M. B. Панов, Москва 1968, nebo podrobné zpracování problematiky hovorové ruštiny, okolo níž se rozhořela i podnětná a vědecky přínosná teoretická diskuse, do které mimo jiné podstatně zasáhli i českoslovenští jazykovědci. Pro mladší lingvistickou generaci připomeňme jádro sporu: kolektiv vedený Je. A. Zemskou (*Русская разговорная речь*, Проспект, Москва 1968) viděl v hovorové ruštině samostatný, jakoby “druhý” kód, svébytný různotvar spisovného jazyka, koexistující s útvarem, jenž byl označován jako *кодифицированный литературный язык*, vystupující převážně v psané formě. Ostatně fenomén mluvenosti a psanosti, hovorovosti a spisovnosti a pojmy jako norma - úzus - kodifikace nebyly z hlediska těchto předpokládaných dvou kódů v jednoznačných vztazích, i *русская разговорная речь* se vymezovala jako útvar spisovný, vázaný na určitou vrstvu nositelů, u nichž se předpokládalo minimálně středněškolské vzdělání (na rozdíl od uživatelů tzv. *просторечия*). Čeští lingvisté, soustředění